

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СПОРЫ

НАЧАЛА был длинный, затяжной разбег — роман «За правое дело» (1952 г.). По выходе в свет ему довелось побывать под огнем пристрастной критики, но обошлось. В. Гроссман внес в книжный вариант небольшие поправки, сгладил рассуждения героев о «жилищно-коммунальном вопросе», в которой смешались «мука» и «мусор», и роман к 1964 году выдержал пять изданий.

Е. КТО не читал или запямятовал роман «За правое дело», могут растеряться на первых страницах «Жизни и судьбы». Слишком много характеров сразу закружились в пространстве повествования. Автор почти не трактует слов на портретные штрихи. Он предполагает, что мы знаем главное о семьях Шапошниковых, Штрумов, Новиковых, о старом большевике Мостовском, комиссаре Крымове, фанатичном активисте 20—30-х годов Абарчуке — человеке, полном веры и огня, подчинившем себя работе во имя «революционного будущего России» и попавшем почему-то под арест в 1937-м... Все так. Однако это важно само по себе обстоятельство не мешает опережать героям второй книги, ибо здесь сконцентрирована главная мысль В. Гроссмана. Чем больше копилась правда, чем шире открывались глаза на минувшее, тем яснее становилось: наступил миг прозрения — трагическое прозрение перед лицом общей жизни и судьбы.

Роман В. Гроссмана есть одна из самых честных и мощных попыток вырваться за пределы старого сознания, встать как бы над исторической схваткой всевозможных враждебных сил, но не ради устранения от схватки, а ради уяснения правды века, необходимой Родине для ее же блага.

СЕ оказалось чудовищно жестоко, нелепо, бесчеловечно. Он впервые ясно понял, насколько страшны дела, творившиеся на Лубянке. «Ведь мучили большевика, Ленина, товарища Крымова». Долго, очень долго шел к прозрению правды участник гражданской войны, коминтерновец, комиссар Крымов. Казалось бы, человек, исповедующий исторический материализм, воспитанный в духе научного мировоззрения, давно должен был понять: в России происходит трагическая метаморфоза; между конкретной жизнью Советского государства, возглавляемого Сталиным, и революционным социалистическим идеалом, который с юности увлекал Крымова и ему подобных, разверзлась пропасть. Да что там социализм! Простые нормы права, этики, личного достоинства, ценящие людьми во все времена и в любых социальных системах, попирались открыто и в небывалом массовом масштабе. А он, «большевик», «ленинец», все примеривался, все вычислял, кто мог, а кто не мог перевернуться и стать «врагом народа». Лихо, как топор, работала логика «классовой морали», выхлопосенной до ветхозаветного правила: если украл у другого — это хорошо, если он у меня — это плохо. Только вместо ветхозаветного этого Крымов теперь противостоял вседозволенному «классовый враг». И вдруг он сам попал во «враги». Немислимо!

Погодите! Разве не было в действительности общественных классов? Разве Крымов придумал всех этих «дворян», «буржуев», «кулаков», «меньшевиков», «эсеров», «белогардейцев», война с которыми и карая которых имели великой революции — и только так! — он равнодушно составлял «докладные» и «книжки», ни разу даже на минуту не задумываясь над тем, что чувствуют эти люди, теряя свободу, ожидая приговора? А разве нет суровых законов политической борьбы и борьбы за власть, этой вечной мировой тьмы, когда врагам не до милосердия друг к другу? Эти вопросы мучительны для Крымова, а духовное страдание от белой слепоты — большее физических ударов следователя, потому что в нем «Крымов узнавал не чужака, а себя же... Это чувство близости поистине было ужасно».

А где-то за сотни верст от Крымова, в фашистском концлагере, через страшные муки сомнений проходит его старший товарищ по судьбе, «большевик», «ленинец» Мостовской. Крымов ужаснулся своему неожиданному сходству с лубянской следовательницей-истязателем. Мостовской с ужасом выслушав убийственные признания в единении с нацистского организатора расовой чистки Лисса, Лисс хитроумен и циничен, для него много о величии «партийного государства» — это уместная тренировка, игра. Но рассуждения Лисса о тождестве тоталитарных систем быт в самую большую точку совести Мостовского. Воспомина-

ние о репрессиях, поглотивших миллионы своих, советских людей, лежит на душе камнем. И даже сюда, в концлагерь, вдруг докучает волна корпоративной, ультраклассовой подозрительности: Мостовской и другие создатели антифашистской организации военнопленных продолжают и здесь, вблизи газовых печей, исповедовать автоматическое недоверие по классовому признаку к своим же товарищам. Вместо того чтобы помочь майору Ершову — человеку явно неординарному — возглавить группу сопротивления, комиссар Осипов устраивает его отправку на смерть в Бухенвальд. И мотивирует это так: Ершову нельзя доверять, поскольку у него раскулачен отец, и вообще он слишком независимо держится.

После мезитских исповедей Лисса Мостовской был близок к трагическому прозрению. Но стоило Осипову сослаться на установку заброшенного из Москвы товарища Котикова как на «приказ партии, приказ Сталина в чрезвычайных условиях», и Мостовской исцелился от терзаний совести.

«И Михаил Сидорович почувствовал, что невыносимое, мучительное ощущение сложности жизни уходит. Вновь, как в молодое время, мир показался ему ясным и простым, разделенным на своих и чужих».

«Чрезвычайные условия». Для поколения Мостовского это своего рода пароль. В сущности, его личное понимание мира, России, человека, «социализма», «классовости» и «партийности» постоянно складывалось под прессом всевозможных чрезвычайных условий. Как показал О. Ладис в статье «Перелом» («Знамя», № 6, 1988), именно многочисленными ссылками на «чрезвычайные условия» Сталин и уже с ним мотивировали репрессивную политику, непримиримый раскол народа на «своих» и «чужих», создавая вместе с тем чрезвычайные условия из условий более или менее нормальных.

И все же приходит чувство, что Мостовскому никогда не удалось бы избавиться от горькой памяти о Ершове, если бы его и еще стальных человек из особого барака, выданных неизвестным провотором, не увели той же ночью эссы. Как ни парадоксально, но духовная судьба Мостовского оказалась легче и счастливее судьбы людей, подобных Крымову. Мостовской погибает в борьбе с безусловным, осквернившим человечество врагом, не утратив символа веры и отбрасывая все, что может ее смутить изнутри. Его несостоявшееся прозрение, его отказ от Ершова В. Гроссман как бы переадресует своим современникам.

Впрочем, если в романе человек, который не запутался в тех же чрезвычайных обстоятельствах. Это — сам Ершов. Он — один из немногих, кто сохранил даже в концлагере свободу и самостоятельность духа. Слыша знаменательное рассуждение Мостовского об оправданности средств целью (они-то и дали Лиссу возможность заигрывать с твердокамненным коммунистом), Ершов вдруг указывает на то, что другие не видят или стараются не видеть:

«...Эх, Кириллов, Кириллов! — сказал вдруг Ершов. — Верно наш отец сказал: мы рады были должны, что фашисты нас ненавидят. Мы их, они нас. Понимаешь? А ты подумай — попасть и самим в лагерь, свой и свой. Вот где беда. А тут что! Мы люди крепкие; еще зададим немцам жизни!»

Сказал по-простому, по совести, а Осипов уж настороже. В фашистском лагере Ершова достала та худшая из бед. Но не знал Ершов, что где-то в недрах Гулагай корчится на больничной койке старый — под стать Мостовскому — чекист Магар. И ригорист Абарчук не может поверить, что это его бывший наставник докучивает:

«Мы обилье... Да никак уж так нельзя. Сега не испустит никаких понятий... Мы не понимали свободы. И Маркс не оценил ее: она основа, высший базис под базисом. Без свободы нет пролетарской революции... Мы проходим через лагерь, тайгу, но вера наша сильней всего. Не сила это — слабость, а сила в лагере, свой и свой. Вот где беда. А тут что! Мы люди крепкие; еще зададим немцам жизни!»

Утром Абарчук узнал, что Магар покончил с собой. Такова цена прозрения для людей этого типа, этой закалки. Образ Магара бросает свет и на психологию Мостовского.

РИТИКИ, первыми написавшие о романе В. Гроссмана, предельно точно совести Мостовского. Воспомина-

ральный счет. Логика критиков понятна, более того, она вся покоится на приверженности литературного сознания 60—70-х годов чистой этике. Заповедь право на эту этику, на так называемый «абстрактный гуманизм» (В. Гроссман тоже заповедывал это право) оказалось в свое время нелегко. Гуманистам приходилось, да и до сих пор приходится, отбиваться и от официального прагматизма, от вульгарной социологистики и от неонационалистических поползновений. С точки зрения чистой этики гуманисты в целом правы. Но как было бы просто, если бы судьба «большевиков», «ленинцев» Крымова, Мостовского, Магара сводилась только к субъективному издержкам революционного фанатизма. Или даже к предательству идеи, к отсутствию бесстрашия перед простыми фактами (оценки И. Золотуского и В. Кардина). Только как объяснить затяжную слепоту этих людей, этих проверенных идеологов «нового мира»? Как объяснить долгое равнодушие Кры-



Александр ПАНКОВ

ТРАГИЧЕСКОЕ ПРОЗРЕНИЕ

ва к судьбам любых «врагов народа», включая своих бывших соратников? И уж никак не подведешь под обычное предательство идеи поступки Мостовского. Не случайно В. Гроссман обнаружил в душе твердокамненного старика, искушаемого Лиссом, спасительную вроде бы мысль (ее заметил И. Золотуский):

«Мостовской видел: Лисс объединил все темное, а мусорные ямы одинокому пахнут... Не в мусоре нужно искать существа различия и сходства, а в замесле строителя, в его мысли».

В том и тонкость, что Мостовской — идеолог, к тому же — искренний. Для него пропасть — это сомнение в «замысле строителя». А его слепота — от веры, что все происходящее в текущей российской истории — это не иначе, как реализация данного замысла; единственно верного учения о достижении всеобщего социалистического блага путем установления диктатуры пролетариата, отмены всех без изъятия форм собственности, кроме «государственной», ликвидации чуждых классов и т. п.

Мостовской и Крымов — живые обычные люди. Но вместе с тем это исторические характеры, это тип сознания и поведения целой эпохи. И тут мы замечаем, что взгляды Крымова и Мостовского не лишены изрядной доли идеологического школяризма, чреватого самообманом. Иначе как было не взять в толк, что экстремистская физическая «ликвидация классов» не только лишает Россию возможность социально-исторического маневра и нанесет стране огромный культурно-хозяйственный урон, но и обернется естественным возникновением новых слоев и групп со всеми обычными признаками классовых отношений. Притом отношений, пораженных болезнью социальной несвободы, правовой и экономической несвободности. Слепя, примитивно-физическая борьба с «буржуазностью» вела к возникновению «буржуазности» монополю-бюрократической, — волонтеристической, неповоротливой, прямолинейной.

Не заметили герои-идеологи и того, что в жертву оголенной идее «революционного насилия» были принесены в конце концов все прочие идеи социалистического замысла. И хотя чистая этика — этика человечности человека — для В. Гроссмана непререкаема; он испытывает героический идеологов на краю пропасти, имя которой не чистая этика, а реальная жизнь, «жизнь-квашня».

Споры этих героев, их метания между фактами и замыслом строителя предвосхищали злоключения советского массового сознания в течение всего периода 60—70-х годов — от момента развенчания культуры личности Сталина до наших дней. Многие до сих пор не могут выйти из заколдованного круга этих злоключений. Свидетельство тому — нынешние столкновения насчет «очернительства» истории, попытки объяснить сталинизм то как фатум российской истории, то как урочающее отступление от «замысла строителя». Самое серьезное в этих столкновениях то, что некоторые публицисты и социологи вернулись к анализу «замысла». Это также попытка прозрения. Поэтому согласимся с И. Золотуским: «В. Гроссман заглядывает в наш день».

В. Гроссман заглянул в наш день, поскольку он не побоялся заключить в скобки сознание трагической эпохи, поставил вопрос о сути «замысла строителя» (перемолотом официальной идеологией

30—50-х годов) и о соотношении этого замысла с жизнью, с ее сущностными законами, которые распространяют свое действие на практику любых политических систем. Ибо люди — всегда люди.

И Мостовскому, и Крымову довелось задуматься о том, почему после Ленина появился Сталин. Понимал ли Ленин верность сталинской реализации «замысла строителя»? Но имя Ленина свято, и это удерживает Крымова не только от анализа «замысла», но и от анализа работы позднейших строителей, включая себя самого. Крымов убежден, что Россия с завидным ускорением идет «ленинским путем», верует в единственность проложенного пути и в тождественность идеи с жизнью: «Партия, созданная Лениным, громя врагов, шла за Сталиным... С врагами не спорят, к их доводам не прислушиваются», — думает он, стремясь оправдать собственный донос на героического командира Грекова. Крымов не знает, что Лисс в это время по-мифотрофски искушает Мостовского: «...Ленин, создавая великий национализм двадцатого века, считал себя создателем Интернационала». Лисс — враг, с него взытки гладки. Однако странно, что марксист-теоретик Крымов (изучавший работы Маркса о сверхакт идеологии, зублирующий труды Ленина о «детской болезни» левизны в коммунизме) пьезбай, как под впечатлением фактов кровавой гражданской войны Ленин стал решительно вносить коррективы в «замысел». Признал существование разных экономических укладов, вступился за крестьянство против «военного коммунизма», ополчился на командный бюрократизм, попытался ограничить власть нового партийно-чиновного аппарата и сохранить исходные полномочия Советов... Уж не отголоски ли ленинских последних прозрений услышал Абарчук в словах заключенного Степанова?

«Вы в своем мистическом иррационализме мне так же противны, как и организаторы этого лагеря. И вы, и они забываете о третьем, самом естественном пути России: пути демократии и свободы».

Тем не менее колесо российской жизни потащили по дороге, протертой еще в годы «военного коммунизма». И лозунг «ленинский путь» стал лишь прикрываемым путем «сталинского».

Разумеется, грамотный социолог никогда не станет утверждать, что реальное «строительство», а точнее — реальная история нашей страны была прямым осуществлением «замысла». О людях, особенно о политиках, нельзя судить на основе их самохарактеристик. Последние обычно являются формой духовного обеспечения реальных интересов и действий. Но тот же социолог легко обнаружил бы внутри «замысла» выводы, которые могли на практике, особенно в чрезвычайных условиях вылиться в однобокую узкоклассовую политику. Обыденная вульгаризация идей «диктатуры пролетариата», «классовой борьбы», «однопартийности», ликвидации классов, экспроприация экспроприаторов; сквозного «обобществления» собственности, «плановости» и т. п. была чревата забвением исторических традиций демократии и свободы в пользу сил, как пишет В. Гроссман, «рабства и насилия».

В. Гроссман разводит жизнь и замысел. Но он постигает и их скрытую взаимосвязь. Будь Крымов подлинным ученым, свободным от доктринерства, он сумел бы предвидеть превращение «диктатуры пролетариата» в диктатуру и культ

вождя. И в военно-бюрократическую организацию общества под флагом «социализма». Труднее было бы, наверное, объяснить, почему идея насильственного свертывания всех форм социальной деятельности к казенно-государственной — под видом установления «общественной собственности» — придется ко двору именно в России, а не в Европе, ридившей маниаще понятие «социализма».

НАША современная мысль с огромным опозданием ищет подлинных объяснений, пытается разобраться в напластованиях идеологии и политики. А ларчик-то открывается, пожалуй, достаточно просто, и притом с помощью известных подходов исторического материализма и научной социологии. Военно-бюрократический, казенный вариант «социализма» (предсказанный Марксом как ре-

ской литературной традиции, в том числе для литературы 60—70-х годов. Они не уместно по поводу глобальных «замыслов», зато в чрезвычайных условиях они в меру сил воистину действуют за правое народное дело. Это они выигрывают битву за Сталинград, потому что ее нельзя выиграть; пытаются воевать во возможности малой кровью, несмотря на доносы офицеров-карьеристов вроде Гетманова и Неудобнов; поднимают волепоклонных против гитлеровцев; мечтают о том, что победа освободит народ не только от алчного империалистического захватчика, но и от болезней в собственном государстве. Не зря Ершову претит политика закручивания гаек, а Греков и Христа не жалуют сплошную коллективизацию. Их здравый смысл покоится на органическом чувстве личной свободы, без которой недостижима и подлинная народная общность.

Может быть, главная вина и беда Крымова, что он не услышал голос народного здравого смысла, противопоставил ему себя сперва в качестве профессионального идеолога, а после — политического надзирателя.

Тут снова уместен вопрос: разве Крымов слеп изначально, разве он безнадежно отторгнут от людей, сохранивших в душе «частную доброту» и здравый смысл? Нет, отвечает В. Гроссман. Слепота и прозрение, добро и зло, свобода и насилие равно коренятся в природе человека. Но именно поэтому, замыслив любое социальное «строительство», следует исходить не из односторонних, узко, догматически понятых целей и средств — классовых, моралистических, национальных, государственных, а из целостного и во многом неизменного существа человеческой жизни, в каких бы формы она ни отливалась под давлением судьбы.

Наиболее глубокие философские фрагменты романа — это как раз рассуждения о природе человека и ее жизненных воплощениях. Подобно многим писателям-современникам, В. Гроссман подступил вплотную к теме личности, к загадкам человеческого «я». Писатель переосмысливал на фоне трагедий XX века то, что было известно еще философам древности: природа человека двойственна, полна противоречий. И нельзя прятаться от них под маской моралиста или циника.

Именно о природе человека заговорил перед самоубийством прозревший Магар. Помните? Человеком движут «слабость, самоосаорание». «Две стороны медной монетки», — добавил он. Правда, Магар указал только на одну сторону монетки — животное естество, эгоистический инстинкт самоосаорания. Откуда же тогда взялась «частной добротой», «человеческому в человеке», той «слабой и немой любви», которую провозгласил как единственное и последнее прибежище людей Иконников? Наверное, из родовых памяти, из постижения опытом поколений, что человек — часть сообщества, как самоосаорание является высшей гарантией бытия отдельной личности. А человечество — это сообщество личностей-народов.

Если сообщество смотрит на человека как на механическое средство для достижения чуждым человеку целей, то, значит, оно больное и не способно к длительному самоосаоранию собственной жизни. Свобода, по В. Гроссману, — это мера здоровья жизни. А также мера равенства отношений человека с человеком и человека с обществом. Однако эгоизм и доброта — всегда в столкновении. Монетка человеческой природы немилосердно гнет и вертит судьбу. Под ее ударами то и дело происходит перетасовка целей и средств, разливается по земле насилие и рабство, человеческими мирами тотально овладевает корысть и вражда, война всех против всех. Слепота неведения, подмена общей правды частной, раздувание отдельных сторон человеческой природы (расовых, национальных, классовых, экономических, политических, религиозных) в качестве чего-то самоцельного, — вот источник заморозивания жизни.

Много, уж, много в жизни всякого мусора В. Гроссман, насупившись, продираться сквозь его завалы, оставляя на страницах романа убийственно точные фотографии гитлеровских прислужников и палачей, гулаговских уголовников, прожженных чинш, маховых обывателей. Падают тут и люди с изрядным сознанием. Одно из самых тяжелых впечатлений во время тюремного заключения

Крымов получает от встречи с бывшим функционером Гулага Каценеленбогеном. Сидя в камере, последний по-прежнему фанатично кланяется в любви к Сталину. А свободе почему-то противопоставляет «врагу». Осуществление же высшей разумности хочет найти в развитии глобального лагеря. При этом Каценеленбоген на удивление серьезен.

Лучшие умы человечества давно открыли двуединство человека, трагическую обратимость добра и зла, кощность эгоистического инстинкта и его мимикрию под общие идеалы. Но среднеклассовый человек склонен забывать мудрость веков. Его здравый смысл власти и рядом уступает силам личной славы и наживы, рабства и насилия. Все возвращается на круги своя. В мировой литературе у этой темы множество толкований. Но В. Гроссман — современник чрезвычайных условий российской и мировой истории XX века — остро ощущал необходимость заново сказать обо всем этом. Его гнетет правда о немислимой покорности и податливости миллионов:

«Страсть к самоосаоранию выразилась в соглашательстве инстинкта и совести». В помощь инстинкту приходит гипнотическая сила мировых идей. Они призывают к любым жертвам, к любым средствам ради достижения величайшей цели грядущего величия родины, счастья человечества, нации, класса, мирового прогресса.

И с инстинктом жизни наряду с гипнотической силой великих идей работала третья сила — ужас перед беспредельным насилием могущественного государства, перед убийствами, ставшим основой государственной повседневности».

По-другому та же мысль звучит в записке прозревшего Иконникова: «...доброе, потерявшее всеобщность, добро санты, класса, нации, государства, стремится придать себе ложную всеобщность, чтобы оправдать свою борьбу со всем тем, что является для него злом».

НАШИ критики увидели в авторском понимании жизни прежде всего защиту человеческой свободы. Но в прозрении В. Гроссмана есть и другое: трагическое осознание незащищенности человека и общества перед собственными инстинктами и рутиной, перед прельщениями национально-классовой исключительности и тотальным диктатом ложной всеобщности. Все эти беды обрушились с особой тяжестью на Россию. И В. Гроссман, ожив зубы, пишет о страданиях и мужестве народа. Отсюда трагизм судьбы главных героев романа — Крымова, Мостовского, Новикова, Людмила и Жени Шапошниковых и, конечно, Виктора Штрума.

Ученый-физик, творческая натура, Штрум — наиболее психологически сложный характер в книге. Он не столько характер-тип, сколько характер-личность. Через него проходят почти все моральные и социальные сюжетные линии романа. В полной мере человек своей эпохи и своей среды, член-корреспондент Академии наук, Штрум делит с окружающими груз общей жизни. Как и Крымов, он долго и безрезультатно пытался объяснить самому себе причины массовых репрессий и сплошной коллективизации. Однако Виктор Павлович не смог достичь твердокамности Крымова и замкнулся в себе. Материнское прощальное письмо из гетто заставляло его переосаоривать трагедию евреев, ставших жертвой фашистского расизма. Пережив нападки обывателей от науки, таких же омраченных номенклатурных чиновников, как Гетманов и Неудобнов, Штрум узнал, что может чувствовать «враг народа», изгой, принесенный в жертву «ложной всеобщности» ученых-бюрократов. Заполняя обновленную анкету, Штрум понял, как легко машина култовской власти и канцелярской конкуренции может взбить пену застарелых национальных предрассудков, подменить одну форму идеологической «ложной всеобщности» (ультраклассовой) другой (националистической) ради закручивания гаек. Обычно такие подмены искажают национальные отношения и чувства народов больших и малых.

Может показаться, что Штрум прозрел раньше многих, не заплатив, однако, столь высокой цены, как Крымов и прочие «якобинцы». Звонок Сталина круто меняет его судьбу. Его открытие получает признание, к нему даже возвращается вкус личной свободы. Но чрезвычайные условия не изменились, и Штруму выпадает пройти через унижительность для него, прозревшего, «соглашательство инстинкта и совести».

В. Гроссман отдал Штруму много творческого тела. Но он бесстрашно заглядывает на самое дно души Виктора Павловича в момент, когда от страха за себя, теснимого чиновниками от науки, он вдруг вновь возвращается к состоянию уверенности в себе.

Штрум застрахован от насилия анимации

нием самого «отца народов». И уже «отец» не кажется ему мистически страшным, чудовищно вероломным выразителем «ложной всеобщности». Штрум приобщен к культуре личности вождя, чья эгоистическая воля венчает обезличиваемую военно-бюрократическую пирамиду. Подознание Штруму стихийно отказывается на переломе в обстоятельствах, и член-корреспондент — при всей его интеллигентности — начинает сплунуть, приметить лицемерие сослуживцев как чистую монету. А у монетки-то две стороны! Вот уже подписано некое письмо-блеф. Штрум — в смятении, близком к смятению арестованного Крымова. Штруму ведомо, что он сделал, он человек зрячий. Но подлинное прозрение у него еще впереди. И никто не сможет нас уверить, что оно будет полным. Ибо жизнь течет, и все течет вместе с ней.

Течение жизни способно выворачивать наизнанку не только судьбу человека, но и судьбу государства. В. Гроссман прослеживает это — на событиях Сталинградской битвы. Народная победа на Волге положила предел наступлению фашизма, но вместе с тем укрепляла культ Сталина и эгоистические силы, стоявшие над народом, паразитировавшие на отсутствии демократии и свободы.

Сверхбдительные Гетманов и Неудобнов уже смывают перспективу международного главенства — именно главенства! — страны-победительницы. Мецане-инженники браждают ура-патриотической лексикой, легко расходуют «кадры». Им не прозреть, что народу нужны мир, разнообразие условий и внутренний рост, а не «главенство»; что у великих и дорого оплаченных побед могут быть обратные последствия; что политическая система, автавией еще в 30-е годы на путь искусственной самоизоляции, огромное расширение сферы ее прямого международного влияния грозит страшной инерцией, социально-экономическим застоєм, за который предстоит заплатить колоссальной расстройкой человеческих и природных ресурсов.

ПРОЧЕМ, об этом герои В. Гроссмана не размышляют подробно. Они останавливаются перед чертой, когда Сталинградская победа закончилась для одних смертью и вечной славой, для других — новыми ложными прельщениями, а для некоторых — мучительным прозрением перед войной века. Многие страницы романа напоминают сцены страшного суда. «Ужас», «ужасно» — не раз произносит автор. После первой книги его долго упрекали за недостаток оптимизма. Прочитай «Жизнь и судьбу», трудно сохранить оптимизм, тем более — розовый. Веря в способность человека делать праведный выбор, В. Гроссман не питал иллюзий насчет мощи стихийных инстинктов, инертности и рутинности общественного быта. Он воспроизводил быт фронта, государственной службы, заводской работы, лагерей не как реалист даже, но как материалист, открывающий физическую конечность и глупость людей. Взгляд писателя выхватывал на территории жизни огромные зоны, где, казалось бы, нет места для жалости и доброты, где у личности не остается надежды на выход. Варварство, рожденное отчуждением цивилизации — от самой себя, толкает человеческие массы вспять, к животному состоянию. Технические успехи тут ничего не меняют. И если существует инстинкт родового самосохранения, способный преодолеть войну всех против всех, то это материнство и врожденная забота о детях.

Перечитайте страницы, посвященные матери Штрума, поездке Людмилы Шапошниковой на похороны Толи, историю рождения ребенка у Веры и Виктора, жуткую хронику последних минут Софи Осиповны и мальчика Давида в газовой камере — и вы, может быть, поймете, откуда у писателя нашлись душевные силы заглянуть в пропасть фактов.

В романе В. Гроссман подчеркивает расхождение интересов народа и интересов государства. Не упрощает ли и не искажает ли писатель объективное положение вещей в советском обществе? Но надо учитывать, что для автора и его героев годящиеся государство неотделимо от Сталина — «эмалецкое» человек», достигшего высот власти, провозгласившего: «Государство — это я». И тем самым отделившего государство от народа, который стремился обрести в нем свободу самореализации.

В лубянской тюрьме один из героев В. Гроссмана говорит эдак, происходит «самосуд истории». Это значит, что в чрезвычайных условиях проливается свет на жизнь всех и каждого. Но видит свет не только автор, но и его герои годящиеся государство неотделимо от Сталина — «эмалецкое» человек», достигшего высот власти, провозгласившего: «Государство — это я». И тем самым отделившего государство от народа, который стремился обрести в нем свободу самореализации.

В лубянской тюрьме один из героев В. Гроссмана говорит эдак, происходит «самосуд истории». Это значит, что в чрезвычайных условиях проливается свет на жизнь всех и каждого. Но видит свет не только автор, но и его герои годящиеся государство неотделимо от Сталина — «эмалецкое» человек», достигшего высот власти, провозгласившего: «Государство — это я». И тем самым отделившего государство от народа, который стремился обрести в нем свободу самореализации.

В. Гроссман отдал Штруму много творческого тела. Но он бесстрашно заглядывает на самое дно души Виктора Павловича в момент, когда от страха за себя, теснимого чиновниками от науки, он вдруг вновь возвращается к состоянию уверенности в себе.